

**Игорь ЛОСИЕВСКИЙ,**  
профессор филологии,  
поэт, лауреат литературной премии  
(г. Харьков)

**«ДНЯ НЕ ПРОЙДЁТ,  
ЧТОБЫ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НЕ ПРОШЛО...»**

**Ч**то значит «Избранное» для поэта? Пора собирания словесно-го мёда — по живым цветам-листам пяти книг. Оказавшись под одной обложкой, многие стихотворения из разных сборников словно засветились навстречу друг другу, обозначились вехи Пути. Пора подведения предварительных итогов? Может быть, и так, но присмотритесь: в «Листах пятикнижья» Сергея Шелкового — завязь новой книги, уже возникающей в образах и звуках:

*Снова проснусь я, как будто проросшее семя.  
Воздух огромен. От сини до сини светло.  
Странно устроено живородящее время —  
Дня не пройдёт, чтобы тысячи лет не прошло...*

Сергей Шелковый — мастер. От сборника к сборнику гармоническая природа его «странного занятия» становится все более очевидной. Уже в первой книге «Всадник-май» (1985) выявлен первородно «летний», воздушный и светоносный, характер его словесной пластики. Но тот первый сборник, интуитивно-точно названный своим именем, помечен «чувством рожденья», помечен часом начала и «взмаха крыл», временем, когда «ставит легкий июнь ногу в стремя», когда «липы город оведают улыбкой непорочных уст...» Время же последних книг поэта «Врата» (1993) и «Во плоти» (1994) — это уже пора плодоношения, когда естественное сгущение образности и философии являет в слове лирико-философскую зрелость и завершённость. Стихи этих книг — словно спелые яблоки на ладони. Они наполнены живыми, незабываемыми образами и сочными красками.

*Когда всё звонче яблок мясо,  
Всё ближе летних дней исход,*

*В лазури яблочного Спаса  
Заметен бликов хоровод.*

*Подобно звукам Амадея  
Они в гармонии слиты.  
Великодушна их идея  
Одушевленья пустоты.*

Герой стихотворений Шелкового живет с «остродетским» желанием чуда — и оно оказывается совсем рядом, осуществлённое во плоти. Это — и «простодушная щедрая плоть» ветвей, лёгкий шелест деревьев, плещущих как «живое зелёное знамя», и «коммунальный уют» мурашей, и «цветок летучий» — махаон. И всё это «вещественно и необманно». Запечатлевая божественную вещность бытия, поэт вправе сказать: «Платон — бесценен! Но дороже — дорога, амфора, зерно!» Пёстрая, трепетная плоть мира, отражённая в слове, быть может, призвана искупить чью-то никчемную, загубленную жизнь, нашу «гибель-гульбу»...

Хотя поэт признается, что не любит «в пейзаже человека», сами его пейзажи очеловечены — в том идеальном смысле, когда говорят об искре Божьей в человеческой душе. Поэтому-то и упоает герой — «искры хранитель» — на великодушные природы, очищенной от «жадного дыханья сумасброда», от «суетных стенаний и молвы». А человек всё-таки появляется «в пейзаже». Пусть он не трижды, как Пётр от Иисуса, а многожды отрекался от самого себя, но всё-таки нашёл в себе силы снова поверить в неизбывность жизни.

*Но вот уже шрамы овражной земли  
Июнь затянул молодой травой,  
И над уцелевшей моей головою  
Терновника ветки опять зацвели.*

В июне — на юг, на юг летит душа героя, спешит он сам «По зову рода, по магниту крови — Чумацким Шляхом, муравой шелковой...». Движение образов во многих стихах Сергея Шелкового подчинено закону крымского притяжения. Вот он, «заговорённый полуостров» поэта, символ животворного пересечения и переплетения, — вопреки всей жестокости исторического пути, — языков, религий, народов. Вот она, земля обетованная его души: читая «Киммерию», почти физически ощущаешь, как сопряжены

в лёгкой материи строки огромные культурные пласты, опять-таки, лежащие «в пейзаже», словно проступая сквозь пейзажные зарисовки. Энергетический источник этих стихов, насыщенных многообразными аллюзиями, наверное, в способности «сверхинтенсивного переживания культуры» (по выражению Лидии Гинзбург), когда все её явления и эпохи словно становятся мгновеньями собственной жизни героя. Когда «дня не пройдёт, чтобы тысячи лет не прошло...»

*Здесь волны шепчут имя Пифагора,  
Шуршат: «Анаксимандр, аквамарин...»  
Здесь нету слов для жалоб и укора,  
И круг пространства-времени един.*

*И этот круг, живая эта сфера,  
Верней — взаимопроницанье сфер,  
Искрят то алой альфою Гомера,  
То опереньем вёсельных галер.*

На таврийскую землю Сергея Шелкового, чуть опережая отсветы евангельские, ложатся античные блики, здесь витает «певучая тень Александра»...

Как справедливо заметил Мандельштам, «поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином». Так Пушкин, словно что-то припоминая о себе, просил катуловского мальчика наполнить чашу «Пьяной горечью Фалерна»... Ахматова, хорошо зная обо всём этом по себе, высказывала предположение, что «поэзия сама — одна великолепная цитата». Поэт и сам, наверное, не знает, как, почему это происходит, но наступает миг «священной жертвы», когда не нужно искать слова — они сами его находят, преодолевая культурно-временные пласты и, вместе с тем, неся в себе — в сверхжатоной материи стиха — память о каждом. И «всемирная отзывчивость», присущая поэзии Сергея Шелкового, отнюдь не идейная установка, она воплощается уже на уровне «внутреннего образа, звучащего слепка формы» (Мандельштам). Не потому ли и в пластической игре образов «Листов пятикнижья», в особенностях поэтической техники таится нечто существенно большее, чем владение «пешими рифмами»?

*Не я виновник рифм.  
Откуда эта детскость*

*Пришла бы мне на ум и на сердце легла,  
Когда б в любом зрачке не колдовала меткость,  
Когда б из полной тьмы планета не всплыла?..*

В стихах Шелкового сдвинуто, слито вечное, незыблемое, «геральдическое» и мгновенное, казалось бы, обречённое на скорую гибель; одно просвечивает в другом, потому и назван махаон не только «цветком летучим», но и «лёгким геральдическим зверьком»...

А как преобразила дворовая гитарная песня слушателя — всегда сердитого, мрачного «хмельного дядь Мишу», уведя его далеко-далеко от его «безногой тоски».

*Не гремит он давно деревянной тележкой,  
А лицо его, ослобелое, злое,  
В ту минуту светилось почти безмятежно,  
И осталось такое, доньне такое...*

Такие мгновенья, сохранённые в слове, утверждают право поэзии быть. Вопреки ветхозаветному «Всё суета сует...» и марк-аврелиевскому «Скоро ты забудешь обо всём, и всё, в свой черёд, забудет о тебе». Поэт не может с этим согласиться:

*Услышанное не вернётся в хаос,  
Увиденное явлено на свет.*

Может быть, именно это упрямое нежелание согласиться с исчезновением даже малой части мировой гармонии и является одним из главных импульсов для поэтического высказывания. «Бог сохраняет всё»... Наверное, немало сохраняет Он устами поэта, его незабывающей душою.

Есть у Сергея Шелкового целые вереницы «невзрослых стихотворений», словно отправленных в детство, освещённых «чуть хмурой добротой» деда и небесной добротой бабушки, «друга милого». Поэт неустанно возвращается к своему началу, туда, где «стены и заросли родины давней, полные гулких, зовущих имён» («Рожденье», из книги «Три времени судьбы», 1989). Там, в тех краях — никогда не изменяющий источник человечности, прозрачного воздуха его стихотворений. И там же — вечноживые образы тех, кого «нет шестнадцать лет и десять», но память о ком «не засыпать глиной и песком»:

*О, как по имени кликнуть мне хочется  
Тень, что качнула вишневую рожицу,  
Плач затаив...*

Глядя на мир не благостно-затуманенно, но пристально и мужественно, поэт не может не брать в себя родную и чужую боль, не превращать её в свою. Даже тогда, когда, пробираясь через траву, «идёт на плач» ночной птицы, «сквозь птичью смертную беду людское что-то различая». Тем более дар сочувствия и сопереживания, — качество истинно поэтическое, — не может оставить его безучастным и к прошлой, и к нынешней боли Отечества:

*Наша правда крива и гугнива —  
На плечах её рваный наряд,  
У нее половецкая грива  
И шляхетский неласковый взгляд.*

Но если нельзя забыть и «днём о ночном Иоанне», о «Святополке с волчьим взором, с ухмылкой лиса», если сказано горько о часе нынешнем «В этот век срамоты, в эти дни оловянного зора нам осталось так мало живых исцеляющих слов», то это оттого, что вера в общее исцеление поэту самому внутренне необходима. Ведь лирического героя поэзии Сергея Шелкового невозможно оторвать от его корней, от той земли «на стыке печенег, Руси, кипчаков», которая сегодня зовется Слободским краем. Не оторвать его от тех плавно-холмистых пространств южной Руси, которые Шелковый в своей эссеистской прозе о Булгакове и Гоголе благоговейно именует Первороссией. Недаром еще в дебютной книге «Всадник-май» он произносит с истинно сыновьим чувством:

*Спасибо, жизнь, за три восьмых  
Моей великоросской крови  
И пять восьмых моих любовей  
Из белых мазанок босых.*

Сильное, глубоко укоренённое дерево с радостью трепещет ветвями на ветру. Так и двуединая, взращённая Россией и Украиной, душа поэта распахнута навстречу всем ветрам: «Мой ангел — метель. А в июле — он ливень-хранитель. Недвижность мне равно среди стужи и зноя страшна». Тяга к воссозданию объёмности,

подвижности стиха, страсть к смысловой многомерности, к окликаниям, слоениям в музыке и живописи строки отличает характер поэзии Шелкового. Его слово почти всегда обладает потенциалом нового движения, распаивания образа. Так огромные пространства Азии могут начинаться прямо здесь, на Блабазе, «у россыпи прилавка» («Благовещенский базар в Харькове»).

В стихах Шелкового нередко оцутима интонация исповеди и молитвы. Иначе и быть не может, ведь неподдельная, неразделяемая с жизнью поэзия — наверное, более всего есть «разговор с Богом». О ком же из живущих не замолвит слово поэт в этом перешёптывании с Небом? Но: «О нас с тобою я давно не плачу. Жалею малых ласковых детей». — Главная его молитва — о будущем, о идущих следом, о выживании надежды как таковой:

*За себя не страшусь, но за них — угловатое племя,  
За оставшихся здесь, среди смуты, глазастых детей —  
Не кляню тебя, век, но прошу тебя, вздорное время:  
Дрогни волчьей губою и юную кровь пожалей.*

А между тем, существует не только «внешняя» опасность: сражение за человеческие души чаще всего происходит внутри нас. Именно об этой схватке, о страшной опасности человеческого безбожия болела душа провидца Федора Достоевского. Всегда ли мы становимся победителями — судите сами, но дорогого стоит горькое восклицание-предупреждение поэта:

*Как плавно входит бес в божественных детей  
Сквозь рыхлые слова досужих разговоров!*

Совсем иные слова, слова «по ту сторону тишины» составили книгу «Листы пятикнижья» Сергея Шелкового. Воистину поэту удалось «на слове хлеба замесить», есть у него золотой запас настоящих, замечательных стихотворений, среди которых — «О Хронос и Харон...», «Я солнце страстью ящериц люблю...», «В мае гремело...», «Бледно-лиловые астры...», «Донец, шафранный август...», «Виноделие», «Ловля», «Волошинский холм», «Между Арсением и Анной...», «Летний дом», «Мало жёлтого, больше кармина...», «Небесный алыт...», «Шмель на малине...», стихи, обращённые к Борису Чичибабину. В них и во многих других строках, вошедших в первое «Избранное» Сергея Шелкового, запечатлены мудрость пройденного пути и зрелость таланта.

Стихи эти покорили сердца многих читателей и были сочувственно встречены старшими мастерами — Борисом Чичибабиным, Юнной Мориц, Евгением Рейном. Остается пожелать поэту не избыть «озноб жизнелюбья», чтобы каждый раз, как впервые, окликали и непокоили его дух «светопад, первоцвет, снеговей...». Чтобы душа его всегда жила в ожидании знака «извне и во плоти». В ожидании чуда.

*1997 г.*